

Ещё ни похвал, ни оваций

В общем, всё бы ничего, если бы не безумный вакуум, непреходящая торичеллиева пустота, поселившаяся в душе и в затылке с утратой московских привязанностей и образа жизни. Не спасали ни планомерные обходы ленинградских театров и музеев, ни частые наезды к нам московских друзей с ностальгическими застольями. Прав Вознесенский: «Природа не терпит пустот...». Пустота требовала немедленного заполнения. Спасли книги и стихи. Теперь это были не случайные, модные авторы и не случайное, на заказ или под настроение письмо. Теперь, грешно сказать, назвать это работой, но это и, вправду, была работа, по крайней мере, попытка работы души и мозга.

О, эти мучительные попытки самообразования в литературе. Не просто прочтение, а заинтересованное, точное, насколько позволяет твоё внутреннее восприятие и культура, прочтение Кирсанова, Тарковского, Пастернака... И восхищение точной мыслью автора, и восторг от необычности образного строя или полнозвучности рифм. Бог мой, как сладко. Как необыкновенно вкусно. Кажется, так бы и катал в горле: «Вечерело. Повсюду ретиво/ Рос орешник. Мы вышли на скат...».

А я бы так смог? Пока вряд ли. И потом, как это, всё же, делается? Как инженер, я и мысли не допускал, что столь яркие, об-

разные конструкции рождаются из ничего, из словесного хаоса. Есть законы, есть внутренние пружины, несущие конструкцию. И, слава Богу, есть книги Квятковского, Эткинда, Лидии Гинзбург, которые хоть что-то объясняют. О, нет, я не о том, что стоит разобраться в ритме и в контексте, научиться отличать дактиль от амфибрахия, постичь метонимию, как некую производную второго порядка от метафоры, и тогда... И, всё же, стóбит. Стоит, хотя бы для того, чтобы потом навсегда забыть, но навсегда нести в себе эти знания подспудно, как некий авторский арсенал, умение, ремесло. Если хотите – некий внутренний инструментарий, который навсегда сродни такому простому внешнему – перо и бумага.

Не думаю, что мои самостоятельные, ночные бдения и раздумья того времени хоть сколько-нибудь приблизили меня к великой тайне поэзии, но что-то всё-таки входило, получалось.

Окна настезь, // пахнет мятой, // ходиков негромкий ход.
Пёс спросонок виновато // звякнет цепью у ворот.

Колыхнёт неслышно ветер // под окном листву рябин..
Господи, откуда это, // из каких еще глубин?

Вниз лицом – // к подушке смятой –
чьи приснились голоса? // Я забыл, как пахнет мятой.
Я забыл, как звали пса.

Окна настезь – торопливо – // ни подсказки, ни следа:
тянет сыростью с залива, // светит электровозда.

* * *

В конце семьдесят шестого мой первый питерский наставник поэт Пётр Кобраков познакомил меня с известным ленинградским поэтом Леонидом Хаустовым. В то время Леонид Иванович набирал своё литературное объединение при электротехническом заводе «Источник», что на Петроградской стороне. Прочитав мою подборку, Хаустов пригласил и меня. ЛИТО работало при заводской многотиражке, редактировал которую Борис Западалов, сам неплохой сочинитель стихов и прозы, а, главное, – безумный энтузиаст и пропагандист литературы. С первых же занятий в хаустовском ЛИТО стал очевиден высочайший уровень Хаустова как учителя и профессионального литератора. Мудрейший Леонид Иванович. Каждое занятие его ЛИТО – новое открытие, новое по-

стижение неведомых до того тайн и нюансов поэтической науки. Занимались, как правило, около трёх часов, из которых добрую половину Хаустов посвящал настоящей учебе, разбору классики и творчества современных мэтров.

Только много позднее, когда Леонида Ивановича уже не стало, я, равно как и многие другие его ученики, теперь уже члены Союза – Юра Шестаков, Андрей Романов, Сергей Дроздов, Володя Рекшан – смогли по-настоящему оценить «школу» Хаустова, так много давшую каждому из нас в начале пути.

Никаких больше кáлек с Евтушенко, ты и так передержан на московской халтуре... – говаривал мне Леонид Иванович. Постепенно рос круг знакомых питерских литераторов – поэтов, прозаиков, критиков. Я понемногу становился своим в питерских и московских журналах, газетах, альманахах...

* * *

В один из дней звоню поэту, заведомо поэзии Вячеславу Кузнецову в «Звезду» и узнаю от него потрясающую новость: редсовет ставит мои стихи в десятый, октябрьский номер. Из московского «Студенческого меридиана» приходит письмо: берут в двенадцатый номер мои стройотрядовские хроники «11 страниц из дневника». Воодушевлённый востребованностью моей лиры, собираю, как мне кажется, очень крепкую лирическую подборку и несу её в питерскую «Аврору». До этого я отчитал и откатал её не только в хаустовском ЛИТО, но и в творческой мастерской Сергея Давыдова, которая по пятницам работает в ДК им. Ленсовета. Так что весьма рассчитываю на то, что в «Авроре» тоже сработает.

Весною семьдесят восьмого в «Авроре» радикально меняется редколлегия. В отдел поэзии, к сожалению, ненадолго, приходит Глеб Горбовский. Помощницей у него в отделе – Светлана Аро, весьма разбитная особа, к несчастью, в тот период времени весьма озабоченная собственными проблемами – недавним разводом с драматургом Владимиром Аро. Светлана, надо отдать должное, не откладывает рукопись в «долгий редакционный ящик», а читает сразу при мне. Я сижу напротив, слежу за реакцией. В это время в комнату отворяется дверь, входит Глеб Яковлевич. Светлана представляет меня мэтру, протягивает Горбовскому пару моих стихотворений:

– Глеб, взгляни на это...

Глеб, сама элегантность, упакованная в идеально сидящий на нём финский костюм при широком цветном галстуке, смо-

три эти пару страниц, потом всю подборку. Пару раз, как мне окажется, одобрительно хмыкает. Потом отделяет от кипы моё небольшое, старенькое, ещё московских времён стихотворение «И снова нам даны в награду...». Перечитывает второй раз. Спрашивает:

– Это у тебя «притёсанный» гранит»?

– Притёсанный, – говорю. – А что?

Речь идет о строчках: «Мостов ажурные ограды, / к воде притёсанный гранит...». «Хорошо», говорит мастер, «вкусно»...

Я на седьмом небе: увидел маэстро. Вроде бы пустяк, проходной эпитет, а ведь надо же. И речь здесь даже не о моей маленькой «находке», речь о настоящем «профи», мгновенно сумевшем отделить пару моих зёрен от буйства плевел.

* * *

Катастрофически не хватало времени. На работе, а я в то время работал конструктором на знаменитом турбостроительном «Ленинградском Металлическом заводе», шёл новый проект 150-мегаваттной высокотемпературной энергетической газовой турбины. За мною были все расчёты и эксперименты по системам охлаждения лопаток. Давили жёсткие сроки подготовки технической документации и производства головного образца машины. Правда, это счастливо совпадало с темой моей диссертационной работы, но у аспирантуры своя специфика и формы обязательной отчётности – статьи, доклады на конференциях и Учёных советах. Так что далеко не всегда совмещалось.

А здесь ещё стихи, будто прорвало, не остановить. Написалась поэма о Волховской ГЭС «Первая любовь Республики». Складывался сюжет и первые главы новой поэмы-размышления «о времени и о себе» с рабочим названием «Урочный час». Написалось несколько этапных, как я сейчас это представляю, стихотворений: «Провинция», «Похолоданье», «Сквозняки».

Налаживать личные связи с редакторами толстых журналов и тонких центральных газет, как ни старался, физически не было времени. Чаще просто брал конверт и отправлял подборку на имя незнакомого мне главного редактора в город Москву. Удивительно, но зачастую приходили такие вожделенные сердцу каждого автора ответы: «публикуем, «Комсомольская правда»; «ставим в пятый номер, журнал «Смена»; «оставляем в редакционном портфеле следующего года, «Юность». С ленинградскими изданиями было проще: публикует в «Звезде» мою очередную подборку Вя-

чеслав Кузнецов; Олег Цакунов ставит на открытие альманаха «Молодой Ленинград-80» мою поэму-хронику «Первая любовь Республики». Просят позвонить из редакции газеты «Смена», где у меня «под знаком Пегаса» должна выйти большая подборка стихов. Звоню вечером из телефона-автомата. Трубку снимает Главный редактор – Селезнёв Геннадий Николаевич. До этого мы были мельком знакомы, встречались на одной из сменовских «Поэтических пятниц». Селезнёв любезно сообщает, что даёт мне в пятничном номере половину четвёртой полосы, что ему нравится многое из того, что я пишу, и особенно... Геннадий Николаевич начинает в трубку зачитывать целые куски из моих виршей, видимо, у него перед глазами гранки номера. Мне безумно приятно, но я говорю из телефона-автомата в новом микрорайоне Гражданки, и за стёклами телефонной будки уже собралась очередь. С трудом нахожу в разговоре приличествующую щель и практически по-хамски обрываю разговор. Прощаюсь, сердечно благодарю за внимание к моей скромной персоне будущего спикера Государственной Думы и моего с этих времен доброго знакомого и редактора, о встречах с которым разговор ещё впереди.

* * *

В один из дней открыл почтовый ящик. В руки ткнулся большой, влажный конверт со знакомым обратным адресом: Московская обл., п/о Чоботы, Переделкино, ул. Гоголя, 1. Очередное послание от Евтушенко. Мы с ним, по-прежнему, поддерживали связь, и иногда я засылал ему почтой или через своего институтского приятеля Гену Котенева десяток-другой своих стихотворений. Хотелось знать мнение мэтра. Вот и на этот раз из конверта вслед за кипой моих рукописей выпала записка – четвертушка листа с мелкими спешными каракулями. Вот несколько слов из неё: «Провинция и Аттракцион – просто здорово. Похолоданье – немного слабее, ему бы, как ты пишешь, “чуть-чуть густеющей крови...”. В той же записке Евтушенко сообщал, что в конце месяца будет в Ленинграде, у него выступление во Дворце спорта «Юбилейный».

Я позвонил Евтушенко в Переделкино. Договорились о встрече в Ленинграде, «связь через моего питерского импресарио», добавил Евтушенко. Позвонил импресарио, получил два приглашения для себя и жены в гостевую ложу, а заодно информацию, что Женя остановится в гостинице «Европейская» на улице художника Исаака Бродского (не путать с поэтом Иосифом).

Выступление Евтушенко в шеститысячном, заполненном до отказа зале Дворца спорта, действительно впечатляло, всё-таки это были уже восьмидесятые, а не начало шестидесятых. К сожалению, не смог досидеть до конца программы, в тот вечер нужно было подъехать к поезду на Московский вокзал, получить у проводника конверт с отзывом на диссертацию. Зато утром отзвонил Евтушенко в гостиницу, договорились о встрече в одиннадцать. Выскочил из проходной завода, схватил такси, но, увы, опоздал. Когда я вошёл в гостиницу около половины двенадцатого, Евтушенко уже топтался у стойки администратора. Поздоровались и сразу – не монолог, но шквал.

– Ты понимаешь, что вчера произошло? Да у вас в Ленинграде никогда такого не было. Тысячи людей. Слушают стихи. Почему вы к ним не идёте? Ваш Чепуров всего боится... Ну, ладно. Рад тебя видеть, тем более, что последняя порция твоих стихов была очень даже... (Он так и сказал – «порция»). Но уже надо ехать – через час самолёт в Ригу. Пиши. Звони. Бывай.

Вот и поговорили. Я смотрел вслед чёрной гостиничной «Волге», выходящей на Невский, и что-то не очень комфортно было у меня на душе. То ли от жениных слов, то ли от невольной причастности к «трусости» нашего литературного начальства. В самом деле, если Евтушенко в одиночку сумел собрать тысячи людей, то почему этого не могут (пусть не в одиночку, пусть коллективом) наши, ленинградские авторы?

* * *

О, это сладкое слово: «моя первая книга». Да и не книга это вовсе, а книжечка на семьсот пятьдесят рифмованных строчек, один авторский лист всего-то. И что в неё можно запихнуть из многих тысяч уже навороченных тобою строк, где каждая твоя, родная кровь и плоть и одна другой лучше. Но ведь что-то нужно отобрать. И потом, это ведь не отдельное стихотворение, это книга, нужна цельная, связанная изнутри конструкция. Собираю лучшее, что у меня есть, как мне кажется. Конечно «Провинция», «Похолоданье», «Стихи о старой московской квартире» и ещё поэму на финал. На солидную поэму из написанных мною четырёх, конечно, места нет, но хотя бы маленькую поэмку «Лейтенанты» на сто шестьдесят строк...

Напрасный труд. Лениздатовец Сотников оказался «крепким» редактором. От составленной мною рукописи полетели «пух-перо-вата». Вылетела «Провинция», вылетел «Аттракци-

он» с посвящением Серёже Дроздову. С трудом удалось отстоять поэму. Мои апелляции к зав. редакцией Анатолию Белинскому действия не возымели. «Редактору виднее», – был ответ. С названием сборника тоже не заладилось. Только пятый из предложенных мною вариантов – «Равновесие», получил одобрение редактора. «Качать права» особенно не приходилось: «Равновесие», так равновесие. Мне, в итоге, и самому понравилось. Наконец, рукопись согласована и отправлена в набор. Начинался долгий, многомесячный процесс производства книги, а я переключился на диссертацию.

* * *

Защита моей диссертации прошла с блеском, ни одного чёрного «шара». Работа и, вправду, была хорошая. К тому же уже и внедрена в производство, что особенно ценилось Учёным советом. На традиционном банкете по случаю защиты, который я организовал в собственной двухкомнатной квартире, гостей было много, водки тоже, поскольку купил я её загодя, ещё до автомобиля. С закусками похуже, поскольку покупались на то небольшое, что осталось после «авто», но и здесь, стараниями моих заводских друзей, а они и составляли добрую половину застолья, всё прошло на высшем уровне. Серёжа Семилетов мастерски пластал копчёную колбасу, Валера Сергеев откупоривал бутылки, а Серёжа Писаренко превзошёл самого себя, сумев из двух банок икры соорудить полсотни бутербродов. Хорошие у меня друзья, недаром я посвятил им добрую треть стихов своего сборника.

* * *

А через пару месяцев после защиты мне позвонил мой редактор и сказал, что я могу приехать и забрать в издательстве свои первые десять авторских экземпляров книжки. Ах, что за чудная это была весть. Разумеется, через минуту после звонка я уже мчал на своём «жигулёнке» к ленинградскому дому на Фонтанке. Тираж ещё не был полностью отпечатан. Только через неделю книгу обещали допечатать полностью и пустить в продажу, но и эти первые десять моих книжек, так вкусно пахнущие свежей типографской краской, были восхитительны.

Я гнал машину через морозящие питерские сумерки и по минутно косил глазом на ярко-зелёные обложки моих книжек, небрежно раскинутых веером по переднему правому сиденью. А душа пела. Господи, до чего же хорошо, до чего же здорово всё у меня складывается: и дом в городе, о котором мечтал, и пре-

красная работа, и машина, и кандидатская степень, и ещё книга. И мне всего тридцать два, даже не возраст Христа. Оставалось только вслед за классиком итальянского кинематографа во всю глотку прокричать в выстывающую морозящую мглу: «Жизнь прекрасна!».

Да и не мгла это вовсе, а огромное, открытое до бесконечного горизонта, словно с вершины, отчаянное пространство, насквозь пронизанное горячими золотистыми лучами, и я... Вот он я, там, на холме, на самой вершине, под солнцем.

Урочный час

В восемьдесят четвёртом в московском издательстве «Современник» у меня вышла вторая книга – «Я вернусь на заре». Собственно, называлось это «книга в книге»: несколько молодых ленинградских авторов под одной обложкой. Но у каждого приличный объём, под полтора авторских листа, да и составлялась книжка по-свободнее, чем моя первая. К тому времени Горбачёв, пока ещё номер два в стране, уже что-то успел пропеть про «открытость» во время своего лондонского вояжа, а издатели народ чуткий.

Составителем книжки был ленинградский поэт Александр Шевелёв. Поэт хороший и составитель порядочный, не кромсал по живому. Мы почти соседствовали. Жил он на втором этаже хрущёвки, угол Гражданского и Северного проспектов, в двух кварталах от меня. Так что я частенько вечерами заезжал к Шевелёву. Пока составлялась книжка, подносил что-то, менял, подсовывал что-то новое, иногда читал ему только что написанные стихи. Шевелёв слушал, часто подсказывал дельные вещи. Из предложенного мною в книжку, он не взял только одно стихотворение, вот это:

Мы уходим в Герат, // провонявшие дымом и потом.
Мы уходим поротно, // не глядя друг другу в глаза,
потому, что не нас // унесли в медсанбат вертолёт,
и сегодня не нас // оцинкуют у жёлтых казарм.

Мы уходим в Герат // на холодном притихшем рассвете,
лишь скрипит под ногами // дорога в остывшей золе.
Да ещё вдоль обочин летит, // кувыркается ветер
и выводит протяжно: // Зачем вы на этой земле?»

«Кто вы этой земле?» – // нам ущелья и горы кричали.
«Что вам эта земля?» – // отзывались долины во мгле.

И с пустых пепелищ, // обжигая нам спины молчаньем,
повторяли селенья: // «Зачем вы на этой земле?»

Мы уходим в Герат. // Мы молчим.

Нам афганская осень // не напомнит своей
В Таганроге, Рязани, Орле. // Нам не трудно молчать, –
нас комбаты и письма не спросят: // «Кто вы ей,
и зачем вы на этой земле?»

Разве только потом, // где-нибудь на чужой параллели,
нам припомнится мельком // под грохот железных колёс:
«Нас не надо жалеть, // ведь и мы никого не жалели.»
Ни у вас, ни у нас // не осталось для жалости слёз.

Ещё нет одурающей в своей скабрёзности и лжи «гласности»,
ещё все газеты перепечатаывают одинаковые, отфильтрованные
ТАСС новости и политические заявления генсека, а гражданская
поэзия, как в давние шестидесятые, ещё может опережать офици-
альные заявления, быть честнее и злободневнее прессы.

В восемьдесят пятом я написал «Три минуты – по Гринвичу»,
поэму на четыреста строк, которая, казалось, сама упала на
мою бумагу из того времени перемен и надежд. Чувствовал, что
уж если не совсем в «десятку», то, по крайней мере, в «девятку» я
точно попал. Хотелось немедленно опубликовать.

Как всегда, заклеил рукопись в конверт и, сопроводив личным
письмом к главному редактору Селезнёву Г.Н., послал в «Комсо-
мольскую правду». Выждав дней десять, позвонил самому Генна-
дию Николаевичу. После настоятельных просьб секретарша со-
единила с «самим». «Сам» меня всё ещё отлично помнил, и поэму
прочитал, и понравилось очень, но напечатать в «Комсомолке»,
как давеча печатал мои стихи, не может. Объём у газеты не тот. Но
поправимо. Селезнёв уже передал мою рукопись в еженедельник
«Собеседник» – воскресное приложение к «Комсомолке». Тот же
тираж – за десять миллионов, и сейчас Селезнёв «перекинет» мой
звонок на редактора «Собеседника» Тимофея Кузнецова. Боже
мой, «поправимо»! Ещё как поправимо.

Кузнецов сказал, что поэму прочитал, ставить будет, но надо
кое-что поправить: «есть маленькие политические неточности»,
так он выразился. Договорились, что днями, я, будучи в ближай-
шей своей служебной командировке в Москве, загляну к нему на
Земляной вал. Командировка выдалась буквально через пару дней.
В то время одна из наших отраслевых научных разработок по за-

щите лопаток газовых турбин от высокотемпературной коррозии была выдвинута на Государственную премию СССР. Среди авторов работы, помимо имен руководителей энергетики и известных учёных, было несколько фамилий скромных заводских специалистов, в том числе и моя. Госпремия СССР – штука серьёзная, в те времена её так просто не давали. Это сегодня депутат Госдумы и одновременно хозяин осветительной конторы по фамилии Боос вместе с Лужковым подсветил лампочкой купол храма Христа-Спасителя, и уже российский лауреат в области культуры и искусства. А тогда нужно было доказывать академической общественности и многочисленному чиновному люду, что работа – действительно новое слово в науке, и денег стране экономит изрядно. Потому я, как соавтор и представитель завода, на котором работа внедрялась, бывал регулярно зван в столицу на многочисленные экспертизы и технические советы. Почитай, каждую неделю, а то и дважды в неделю, навещался в белокаменную. Меня даже постовой, который дежурил на столичном перроне по приходе «Красной стрелы», уже узнавать начал и приветствовал, поднося руку к козырьку, всякий раз, когда я утром на перрон выпрыгивал.

Но вот наехал я очередной раз в столицу, дела служебные сделал, и в «Собеседник»; заодно редактору Кузнецову привёз свои книжки в подарок. Кузнецов и книжки мои принял, и поэму не особенно изувечил. Попросил отредактировать несколько строк, где я, как он говорил, «слишком уж братаюсь с этими капиталистами». Не успел я домой вернуться – звонок из Москвы. Кузнецов книжки мои дарёные прочитал и решил ещё одну поэму прямо из книжки – «Первая любовь Республики», десятиmillionным тиражом дать, причем немедленно в ближайшем апрельском номере под ленинский юбилей.

– «А три минуты – по Гринвичу» я в начале июня поставлю, под пленум...».

Не знаю, какой уж там был пленум, но против такого предложения я не возражал. Вот так я дважды просыпался знаменитым. Были звонки от знакомых и незнакомых, были официальные поздравления на секретарской доске Дома писателей, были, как водится, иронические ухмылки «друзей-писателей», а ещё были читательские письма. Писал ветеран из Подмосковья; оказывается, «он давно уже следит за моим творчеством» и, конечно, желает мне самого-самого. Писали девушки-ткачихи из Иваново (как же без них!), писал инвалид-афганец из Саратова и ещё много-много хороших и разных людей.

Мне, случалось, и прежде пересылали из журналов читательские письма, но чтобы в таком количестве... Несколько раз, наезжая в Москву, я забегал в «Собеседник» и загружал ими свой дипломат, старался, хоть и не на все, но отвечать. Думаю, что изрядная часть этих писем до сих пор лежит где-нибудь в архиве «Комсомолки».

Через пару месяцев после публикации «Трёх минут...» в «Собеседнике», позвонили из журнала «Литературная учеба», предложили опубликовать поэму у них с большим критическим разбором – сразу несколько независимых рецензий известных критиков.

– Вот, и Алла Киреева намерена поучаствовать, – сказали мне в трубку. – Ваш текст уже у неё. А вот её телефон, записывайте, можете позвонить.

– Почему бы и не позвонить? – решил я.

Помимо того, что Алла Киреева известный критик, она ещё и супруга Роберта Рождественского. «Может, как-то срастётся», – мелькнула шкурная мысль. Позвонил, представился. Разговор тёплый, дружеский.

– Да, прочла. Буду писать для «Литучебы». Кстати, Роберт Иванович тоже прочёл, сказал: что-то есть. Кланяется вам...

«Ну, вот, уже и Роберт Иванович кланяется, – восторженно рвануло где-то внутри. – “Ай, да Сашка, ай, да сукин сын”».

* * *

Во время своего очередного наезда в Москву позвонил в «Комсомолку» Кузнецову, хотел презентовать ему свою новую книжку. В редакции ответили, что он теперь работает в ЦК партии, и, выяснив, кто такой, да по какой надобности, секретарша дала мне цековский телефон. Позвонил. Тимофей Кузнецов, новоиспечённый инструктор отдела пропаганды ЦК партии, назначил мне встречу в пятом подъезде главного здания страны на Старой площади. Встретились, поговорили. При расставании Кузнецов, как бы между прочим, заметил:

– Сейчас в комсомоле выдвижения на премию идут. Будем тебя рекомендовать, за поэмы.

Вернувшись в Ленинград, узнал от секретаря по молодым Вольта Суслова, что уже звонили из Москвы, просили поддержать и выдать необходимые рекомендации и характеристики на премию. Нужные бумаги и на службе, и в Союзе писателей мне выправили и переслали в Обком комсомола. Разумеется, новость

немедленно распространилась по писательскому Союзу, кто-то заранее поздравлял, кто-то, как водится, многозначительно ухмылялся. Где-то через неделю Суслов передал мне просьбу первого секретаря Ленинградского горкома комсомола Володи Катенева встретиться с ним лично. Володю я знал много лет, ещё с конца семидесятых, когда он секретарствовал на моём заводе, потому, когда встретились, разговор был прямой.

– Понимаешь, с работами твоими и с характеристиками всё в порядке, но тут письмо подмётное на тебя пришло. Кто-то из твоих «дружков-стихотворцев» поминает твои антисоветские стишки про Герат, грозятся в Москву отписать. Конечно, «фуффло» и гадость, но думаю ни тебе, ни нам этого не надо. Но я постараюсь кляузу придержать. А это «фуффло», – он ткнул пальцем в письмо, – я рву и забываю.

Из секретарского кабинета вышел я с чувством абсолютного омерзения. Конечно, в писательской среде дело это обычное, сам, помнится, рифмовал: «сбиваться в стаи, в клочья рвать чужих». Но я-то, вроде, не чужой. Хотя как сказать, свой-то свой, но, похоже, не для всех.

Премии мне дали и медаль, и денег в конверте. Сама Валентина Матвиенко, первый секретарь Обкома, руку трясла, даже в телевизор показали. На секретарской доске Дома писателей тоже поздравление появилось. Да и денег в конверте было достаточно, чтобы «обмыть» событие в писательской кофейне с настоящими друзьями.

Пережить бы критический возраст // оказаться на том рубеже,
где – больней, // отвратительней подлость,
но обиды терпимей уже.

Где не в спешке, // не вдруг, // не на ощупь,
и не под шепоток со спины // с каждым днём и яснее,
и проще // пониманье добра и вины.

Где, по-прежнему, нет и в помине // ни удач,
ни в кармане гроша... // Но смиренней, чем прежде,
гордыня, // но просторней, чем прежде, // душа.

* * *

В середине девяностого у меня вышли сразу три книжки. В Ленинграде – «Урочный час», в Москве – «Перекрёсток» и «Точка возврата». Солидный объём: где-то по три печатных листа каж-

дая, да и тираж тоже: питерская книжка – десять тысяч, московские: одна – десять, другая – двадцать пять. Гонорары тоже соответствующие.

Но вот теперь, я, кажется, и, вправду, профи. Во всяком случае, в том смысле, что могу кормиться от литературных трудов. Пора подавать в Союз. Вот только в какой? Ленинградское отделение СП вслед за московским «Апрелем» разделилось на два Союза. В одном, городском – мои старые друзья, с которыми я вместе начинал много лет назад: Олег Левитан, Володя Рекшан, Валера Суров. В другом, который всё ещё ЛО СП СССР, – Горбовский, Кузнецов, Воронин, Грудинина.

Мы сидим с Олегом Левитаном в кафе писательского дома. Олег листает одну из моих только что вышедших книг «Урочный час». Он малость «под шафе», потому позёрствует:

– Хочешь, я тебя к нам в Союз по одной этой книжке приму?

– Спасибо, Олег. Я уже решил, подаю в «старый» Союз. И потом, мне есть с чем туда идти, всё-таки шесть гонорарных книг...

* * *

И всё же я успел стать членом СП ещё той, Большой страны. В питерском секретариате мне сообщили, что членство моё в Москве утверждено, и членский билет на моё имя выписан. Надо поехать, оплатить вступительный взнос и забрать билет. Сел в «Стрелу» и поехал в ЦДЛ на московскую улицу имени комиссара Воровского. Толкнул знакомую дверь, назвал, расписался, где надо, и мне вручили заветную книжку, ту самую – «тонкой телячьей кожи с золотым оттиском профиля вождя на красном титуле». Всё буднично и просто. Будто и не шёл я к ней долгих пятнадцать лет. Вышел во двор, обнесённый высоким узорным забором, остановился, вдохнул полной грудью зябкий осенний воздух. Радости не было, только вялость в затылке и странное безразличие в груди.

Рядом с воротами «цедеэловского» особняка тормознула чёрная «Волга». Из машины вышел высокий статный старик в длинной лисьей шубе и, слегка опираясь на палку, пошёл ко входу в особняк. Пройдя до половины, приостановился, запустил руку за отворот шубы, что-то нащупывая во внутреннем кармане. Откуда-то с задворок писательского ресторана выскочила драчная худая дворняжка и опрометью кинулась через двор. Завидев старика, от неожиданности присела, а потом медленно пошла к нему и ткнулась слюнявой мордой в полу лисьей шубы, благого-

вейно вдыхая запахи пронафталинированного меха. Старик огрел собаку палкой, та взвизгнула и потрусилась дальше, а он вальяжно пошел ко входу.

– Здравствуйте, Сергей Владимирович.

– Здравствуйте, – буркнул старик, явно раздосадованный встречей с неожиданным свидетелем собачьей экзекуции.

А я вспомнил, как десять лет назад этот старик с трибуны конференции молодых литераторов называл моё имя. И ещё говорил о великой ответственности русского писателя в этом мире, ответственности за каждое сказанное слово, за каждую написанную «строчечку»...

Пройдёт ещё десять лет и этот, по-прежнему, крепкий старик, легко поправив собственные «строчечки», перепишет гимн нашей страны. Будто и не было того «могучего и нерушимого».

К счастью, побитая им собака до этого времени не доживёт.

Под небом яркозвёздным

Всё обрушилось почти одновременно. Страна, идеология, общественные институты, судьбы, карьеры, планы, накопления в чулках и на сберкнижках, цены в торговых рядах... То есть, цены-то как раз наоборот взлетели заоблачно, поражая обезумевших граждан невиданной наглостью, а их дырявые кошельки несчётным количеством нулей. А над страной витийствовали неслыханные и незнакомые доселе имена вкупе с отвратительными физиономиями их обладателей – Гайдар, Чубайс, Бурбулис...

У эпох бывают времена. // Времена имеют имена.

У времён есть крёстные отцы, // для имён есть святцы и писцы.

Времена по-разному зовут: // коллективизация // и культ, перестройка, // гласность // и застой...

Времена командуют страной:

им судить чей подвиг, // чья вина.

Им чернить и славить имена.

Им себе подстать ковать народ...

Жаль, что никогда наоборот.

Как называлось «ТО» время начала девяностых? Мне и сейчас трудно определиться с названием. Могу более-менее точно говорить только об ощущениях – безысходность, подавленность,

непонимание и мерзость происходящего вокруг. Но времена, как известно, не выбирают. Надо как-то жить.

Мне отказали в двух издательствах – в «Лениздате» и в «Молодой Гвардии», где готовился выход двух моих новых книг. Информацию об этом воспринял с лёгким недоумением. Из «Лениздата» у меня было письмо за подписью зав. редакцией художественной литературы Белинского, где он от лица издательства поздравлял меня с комсомольской премией и информировал о том, что книга включена в издательский план на 92 год. А с «Молодой Гвардией» у меня и вовсе официальный договор.

Порылся в своём архиве, нашёл «лениздатовское» письмо, и напрямиком к Белинскому. Анатолий Иванович повздыхал, развёл руками:

– Видишь сам, что творится. Какие теперь планы. У нас вместо книг сейчас рекламные листовки и предвыборные плакаты...

В «Молодой Гвардии» и вовсе объяснили всё просто: «Форс-мажор» – обстоятельства непреодолимой силы, вызванные социальными переменами в стране. В договоре на этот счёт даже специальный пункт имеется. Так что, извините. Предложили издать книгу за свой счёт и самому потом реализовывать тираж.

После выхода шести гонорарных книг, когда деньги, и неплохие, издательства платили мне, даже сама постановка вопроса показалась унижительной для профессионала. Отказался. Да и чем было платить?

* * *

«Правила» и, вправду, обязаны быть. В недавней стране они были просты и понятны. В основе их была лояльность строю. Будь лоялен, и дальше игра с рождения по отлаженному, точному алгоритму: школа, институт, НИИ или фабрика. Если, действительно, не дурак, но не слишком лоялен – постепенный карьерный рост, приличная (по меркам соцпотребностей) зарплата, квартира, дача, машина. Наконец, достойная пенсия и гарантированная старость в своём углу, а не где-нибудь под забором.

Ну, а если по-настоящему лоялен, служишь режиму опорой и верой, тогда не просто рост, а карьерные взлёты, и опять же: зарплата – чуть побольше, квартира – чуть получше, спецраспределитель продовольственный и вещевой, но минус дача, минус собственная машина. Правда, машина и дача есть, но они казённые, служебные, пока народу служишь. А из собственности – только личная пыжиковая шапка, иначе какой ты слуга народа. Итог тот

же: достойная пенсия и гарантированная старость в своём углу, а не где-нибудь под забором.

Не захотели. Новые горбатые партлидеры и базедоворылые партидеологи, потёршись плечью о Запад, быстро смекнули, что личный «мерс» и вилла в Антибе лучше личной пыжиковой шапки и служебных дачек. А за ними и другие «лидеры» потянулись, чай, тоже не лаптем «клико» хлебали. А народ, что ж народ? Ему всё быстро объяснили – будем жить, как «они»: кто сметливее, наглее, удачливее, у того и дача на Рублёвке.

Что ж, всё правильно, хватит уравниловки. Кто же против. Разумная соревновательность: если талантливее, умнее, способнее других, – тогда имей. Слова, слова, слова...

Запомнили, однако, что в стране и шапок-то пыжиковых на всех не хватало, не то что, «мерсов» или нефти. А если не хватает, значит надо отнять. Отнять у тех, кто слабее, беззащитнее, порядочнее. Воистину, «соревновательность», только не талантов, а безнравственности, хамства, лицемерия, мерзости и грубой силы.

Но ведь нельзя же так просто всё отнять, включая страну, надо же хоть что-то – взамен. А взамен – свобода! Свобода от собственной культуры и памяти, от чести и совести, свобода быть «замоченным» в собственном подъезде и в театральном зале на Дубровке, свобода лицезреть сытых хозяев новой жизни на экране «ящика» и самому сдохнуть под забором.

Гуляй, пахан, по крови, по судьбам миллионов униженных и нищих. Вся страна – «МММ»...

Я сам никогда не был особенным сторонником коммунистической идеи. Помнится, назначая на новую должность или посылая «за бугор» представлять страну, мне не раз говорили, пора в партию, соответствовать доверию надо. Не шёл, отшучивался, мол, «есть и достойнее». Но тут уж такое у новых «хозяев» с самим «человеком», перед чем все брежневские заморочки с его «правами» – просто невинные шалости. Как говорится – «Почувствуйте разницу».

Самого себя не обмануть, // даже если хочется порой.

Мне сегодня стыдно за страну. // Мне сегодня стыдно со страной за народ, униженный враньём, // нищетой и разорённым кровом. За её исконное ворьё, // почему-то названное «новым».

Мне сегодня стыдно за страну, // (Господи, моя ли ты, страна?), за её Кавказскую войну, // за её правителя-лгуна.

За её беспомощность и хворь, // за её поруганную честь,
за её терпение и скорбь, // и за всё, чего не перечесать...

Самого себя не обмануть, // все ещё надеясь и любя:
мне сегодня стыдно за страну // и безумно стыдно за себя.

* * *

В новой питерской газете «Деловое обозрение» мне предложили вести литературные страницы. Вернее, я долго уговаривал главного редактора Ирину Лебедеву открыть в её коммерческом издании такую «бесплатную» рубрику, чтобы хоть чем-то помочь нашей писательской братии. Гонорара платить газета не могла и так жертвовала своей рекламной полосой, но зато у питерских профессионалов появилась возможность печататься в популярном городском издании в десять тысяч экземпляров. Теперь я «перекапывал» и перечитывал сотни рукописей своих коллег, ночами макетировал полосу, клеил фотографии, писал «вводки», сам набирал и сканировал тексты на компьютере. За год мне удалось представить в газете почти полсотни питерских поэтов и прозаиков. К сожалению, далеко не всех. У газеты стало туго с финансами, и полосу пришлось вернуть под рекламу. Но ведь и так сделал больше, чем мог.

А в жизнь страны, и без того бурную и перегруженную событиями, стремительно врываются новые информационные технологии. Появился «Интернет», давший миллионам моих сограждан не только доступ к мировой информации, но и, не санкционированный рублём и издательским капризом, доступ писателя к широкому читательскому кругу.

Срочно «соорудил» себе во всемирной сети два творческих сайта: один поэтический, под собственной фамилией, другой – «юморной», под псевдонимом «Профи». Всё-таки «Интернет» – потрясающая для пишущего человека штука: немедленная возможность опубликовать написанное, и такая же мгновенная ответная реакция читателя, причем анонимная, не ангажированная критикой или «лицом» издания. Что думает читатель, то и пишет автору о его вещи, да и о самом создателе. Куда там давешним «читательским письмам», идущим к автору долгой дорогой через издательство. У меня теперь тысячи новых «интернетовских» читателей и сотни корреспондентов, не успеваю отвечать, отчего получаю невыразимое авторское удовольствие.

Похоже, жизнь и, вправду, налаживается, в том смысле, в каком её вообще можно назвать жизнью для большинства обитателей моей сегодняшней страны. После дефолтов и разора, чуть оклемался народ. Из Кремля ушёл придурковатый старец, десять лет насилловавший страну, а пришёл..., пока не знаю кто.

На дворе май последнего года тысячелетия. В рамке телеэкрана лестница Георгиевского зала Кремля, по которой в державный зал поднимается новый хозяин державы. Моя жена Галя пристально смотрит в экран и вдруг неожиданно говорит:

– Вот идёт человек, которого никто не знает и, который ничего не сделал для страны...

Мы оба неотрывно смотрим в экран, и оба понимаем: «после десяти лет царствования дебила, приход на трон человека вменяемого уже само по себе благо». А вот что будет дальше?.. Поживём – увидим.

Хотя, что собственно, может измениться? Опять стрелять, отнимать и делить? Да и много ли счастья в этом «отнятом или уволованном»? И в чём оно вообще, счастье?

Не берусь судить за всех. Скажу, а точнее попытаюсь, говорить только за себя, да и то не о счастье, а о своих ощущениях внутреннего комфорта. Не знаю, как там будет завтра, а сегодня мне хорошо. Хорошо потому, что мой труд, мои знания инженера востребованы и, смею думать, полезны стране и людям. А ещё мне за это неплохо платят, я могу позволить себе не думать о том, что у меня сегодня будет на обеденном столе и в каких ботинках мне выйти на улицу. Могу вместе с женой провести пару недель отпуска на испанском побережье и даже дальше, в Японии или в Австралии.

Хорошо потому, что у меня любящая, красивая жена, прекрасная семья и дом. И как бы это не звучало эгоистично и банально, нет в мире для меня сегодня ценности ценнее, и света нет светлей. Хорошо от того, что здоровы мои близкие и я сам. Хорошо потому, что судьба даровала мне возможность объехать весь мир, дружить и общаться с великими литераторами моего времени, с умными и достойными государственными людьми, с выдающимися учёными и менеджерами этой планеты.

А ещё хорошо потому, что Господь дал мне это умение – писать. Меня публикуют в стране и даже в далёкой Америке. У меня выходят книги: совсем недавно вышел последний сборник стихов

«Лихолетье», а в питерском издательстве «Дума» уже готовится к публикации новый сборник пародий. Да и эта, пятнадцатая моя книга, почти написана. У меня сегодня, несмотря на тяжкие для «слова» времена, всё ещё тысячи читателей, и «книжных», и «интернетовских», и у меня был звёздный час, когда их было десятки миллионов, и кто-то из них, надеюсь, всё ещё помнит моё имя.

И ещё мне хорошо от того, что я всё это сделал сам, не украл и не отнял.

Мне сегодня плохо от того, что плохо моей стране, от того, что большая часть её обитателей не может сказать о своём «внутреннем комфорте», того же, что говорю я. И я тешу себя надеждой, что, может быть, своей работой в технике и скромным словом своим, я, хотя бы немножко, смогу помочь моей стране, и тем, кому сегодня в ней хуже, чем мне. Тешу, хотя и понимаю, что от судьбы своей не может уйти, увы, ни страна, ни даже единый её обитатель.

Под небом яркозвёздным // теперь не покутить –
карьеру делать поздно, // и денег не скопить.

С певуньей не обняться, // в обнимку не сплясать –
уже не восемнадцать, // уже – за сорок пять.

Беспечно через годы, // в чудное «никуда»
уплыли пароходы, // умчались поезда.

Под небом яркозвёздным // судьбы не изменить –
карьеру делать поздно... // Но так не поздно жить!

Москва – Санкт-Петербург
2002 – 2003 г.г.